



АЛЕКСАНДР ЗАВЬЯЛОВ

прозаик, автор сценических переложений русской классики, по образованию театровед

Жизнь или житие *Вступительная статья*

Житие как литературный жанр предполагает цельное жизнеописание человека, который с помощью своей веры, труда и личного подвига преобразился из «человека плотского» в «человека духовного». Высокий стиль языка, на котором написаны жития святых, предопределяет выбор фактов из биографии человека. Создателя жития интересуют только те обстоятельства, при которых человек «забывает себя», обретая тем самым залог жизни вечной. Агиография (от греч. «hagios» — святой, «grapho» — пишу) лишена всякого психологизма, так как мотив поступка, находящегося в поле зрения автора, ясен — это выполнение первой заповеди: возлюби Господа Бога своего больше всего на свете. Мы не можем проследить развитие внутреннего человека, а лишь довольствуемся результатом его выбора. От этого жизнеописание напоминает легенду, а, рассказанная при определенных исторических обстоятельствах, эта легенда превращается в миф. В этом смысле «Житие простодушного Охупкина» Александра Завьялова полностью соответствует выбранному литературному жанру.

Это не биографическая повесть о жизни поэта Олега Охупкина, рожденного в 1944 году в освобожденном от блокады Ленинграде, ныне причисленного литературоведами к плеяде «поздних петербуржцев». В этом повествовании нет развития не только внутреннего человека, но даже внешнего. Автором «Жития...» выбраны несколько эпизодов из жизни конкретного человека, но рассказаны они так, что реально существующие люди воспринимаются, скорее, как маски, или как «архетипы социальной психологии».

Этот прием узнаваем. Ноздрев, Коробочка, Собакевич — имена нарицательные в современном русском языке. Но разве не могло быть людей с такими фамилиями во времена Гоголя? Еще как могло. (Вспомним удивление Николая Васильевича иным русским фамилиям: «просто плюнешь и перекрестишься».)

Подлинными именами в произведении Александра Завьялова служат той же цели: созданию ощущения достоверности жизни. Только у реальных людей отняты их тени и объемы, оставлена лишь голая суть. Внутренние мотивации героев вне поля зрения автора. Мы видим перед собой психологические портреты, написанные жесткой кистью художника-авангардиста. «Искажение», — скажут умеренные



модернисты; «клевета» — вынесут приговор апологеты неоклассицизма. Однако можно дать один совет всем «быстрым на расправу» критикам: читая этот текст, ловите себя на естественной реакции. Если слова, уложенные в определенном порядке, заставляют вас смеяться или грустить, удивляться или приходить в восторг — значит, это слово живое. А у всего, что живет, есть цель и смысл.

В свое время, отвечая на критику своих произведений, Гоголь воскликнул: «Я лишь хотел показать людям то зло, которое есть в них самих. Они ужаснутся и исправятся». Но добропорядочный обыватель воспринял описание «мертвых душ» как оскорбление и окостенел в своем самодовольстве окончательно. Кривое зеркало не может оскорбить человека, у которого есть самоирония. Увидев себя с вытянутой головой или расплывшимся туловищем, он лишь поразится тому, что, оказывается, есть иное измерение, в котором я не так уж прекрасен. Уметь посмеяться над собой — значит встать на путь выздоровления души.

Остается разрешить последнее недоумение читателя. Все-таки жития, а не просто жизнеописание удостаиваются лишь святые, канонизированные Церковью после смерти подвижника. В этом смысле герой Александра Завьялова никак не может быть объектом осмысления, так как он еще жив, а значит, о победе Бога над дьяволом в его душе говорить пока преждевременно.

Слово «житие» имеет два значения — официальное (основной жанр церковной словесности) и разговорное (жизнь, житье). Не исключено, что близкое фонетическое звучание разговорного слова и литературного жанра определило первоначальный выбор автора.

В то же время всякий соприкоснувшийся с тайной литературного творчества знает, что слово ведет. Стилистика жесткого гротеска у Александра Завьялова не та, что мы встречаем у Свифта или иных европейских авторов. В системе ценностей европейской культуры он означает протест личности против пошлости жизни. «Я мыслю — значит, я существую», — определял Декарт.

Координаты русской культуры иные. Стремящаяся к идеалу душа не отделяет себя от остального бесцветного мира, а страдает ему: «Я люблю — значит, ты существуешь». Гротеск, ирония в этой системе координат означают боль за другого человека. Образы Александра Завьялова, живые и пронзительные, приоткрывают тайну души человека, «которая велика есть».

Татьяна Ковалькова

ЖИТИЕ ПРОСТОДУШНОГО ОХАПКИНА

Гиперинфляция, или Как Охапкин зубы менял

Поэт Охапкин, когда в молодом соку был, жизнь без оглядки прожил. Ни в чем себе не отказывал. Вина вволю попил, женской ягоды вкусил, сколько дали, и табаку плантацию скурил.

Гоголь в сорок три года умер, Охапкин же в сорок семь буйно цвел, однако плоть подыстрепал изрядно и рот хорошо растрянжирил. Когда на людях себя читал, всякому доступно было зубы счесть, и суеверный кто — ежился: число там шевелилось апокалипсическое — семь.

Магия в числе, бесспорно, была. Как достиг Охапкин семи зубов, так и звездный час пробил — стали его жадно печатать.

Первым Охапкина открыл Париж. Родина тоже в грязь лицом не ударила — отозвалась тощей книжечкой. Потом прорвало всех. Газета «Смена» Охапкина на целый разворот развезла. Телевидение не давало проходу:

— Олег Александрович, нас миллионы смотрят. Мы вас крупным планом в каждую семью введем.

А еще в залы звали на живую публику. Охапкин туда с охотой стремился и щедро глаголом сердца жег.

Притормозила феерические триумфы жена:

— Хватит! Больше не пушу на срам! Чини рот, а то поэт хуже бабы-яги!

Охапкин к врачу пришел, распахнул рот. Врач полюбовался, языком звучно щелкнул.

— Что? — взволновался Охапкин. — Много труда?

— Раз плюнуть. — Врач в минуту удалил все, что сверху торчало, и бросил в таз.

Посмотрел в таз Охапкин. Там два зуба лежало. Он про них так подумал: «Часть меня. Тут останется. А другая пойдет в славе жить».

Отпустил врач Охапкина две недели гулять, чтобы рот для грядущих процедур окреп. Дома встретила взъерошенная жена. На лице сиял праздник, будто выиграла «Мерседес»:

— Мой отец лося на охоте убил. Нам полноги принес.

Полноги занимали полстола.

Охапкин знал: лось — деликатесное мясо, хотя против говядины жестковато на зуб. Лось не корова, там хорошо тренированный мускул. Особенно нога. Ничего вслух не промолвил Охапкин, а лишь языком по лысой десне погулял.

— Ты не рад? — ужаснулась жена. — Да за такой кусок сегодня убивают!

Она была права. Время стояло голодное — крали кефир и лапшу.

Охапкин продемонстрировал потери рта. Жену это разожгло еще пуще:

— А Мересьев? А Островский — «Как закалялась сталь»? Человек, когда приспичит, — все может! Кровь из носа — ногу надо за неделю съесть!

Дело было в декабре, но, как назло, зима в тот год не задалась. Хмурилась оттепель, все раскисло без надежд на мороз. Холодильника ж не имелось — на гонорар поэта купишь разве шелудивую кошку. Выходило — надо начинать есть с этой минуты.

— У нас мясорубка есть? — нашелся сообразительный Охапкин. — Я бы котлетой одолел чертову ногу.

— Нет мясорубки! — отрезала жена. — А ты, как Жачев, научись есть.

— Какой такой Жачев? — насторожился ревнивый Охапкин.

— У Платонова в «Котловане» герой. Без ног, без зубов, а деснами железо в пыль крошил. И рукой бил сильнее ноги.

— Жачев — литература, а я — живое лицо, — оскорбился Охапкин и спать ушел.

Лося Охапкин, однако, съел. Какой такой техникой — это его тайна, но полноги как раз в неделю уписал. Жена, когда на сковородке последний кусок скворчал, заметила:

— Так говоришь, Платонов Жачева придумал? Нет, он его с натуры писал.

Новый год минул. Грянула либерализация цен. Все вздорожало и стало никому не по зубам. Народ нахохлился и рычал в очередях. Охапкин же независимым гоголем гулял.

«Тонко я время чую. Хорошо подгадал смену зубов под реформу. Я не ем, и никто не ест со мной за компанию. А к новым зубам как раз и цены падут».

О том, что цены падут, громко кричали газеты.

Рождество Христово было на носу. Его Охапкин мечтал встретить в обнове.

...Врач встретил его как друга. В кресло усадил, под которым знакомый таз стоял. На ладони торжественно зубы вынес. Как нес, не дышал, будто там хрустальное сокровище за миллион.

— Каково? Радует глаз?

Зрелище завораживало.

— Я поэт, а слов не нахожу, — молвил Охапкин. — Вы — маэстро! Я вас выше Микеланджело ставлю.

— Да уж... себя превзошел. Всю душу сюда вложил. Все под Богом ходим... Вы умрете, а этим зубам в веках жить.

— А как они во рту будут? — любопытствовал нетерпеливый Охапкин.

— Да как родные! А главное — никогда не заболят и ничем чистить не надо. Ну-ка, давайте эту красоту на место определим.

Охапкин разинул рот на всю силу. Ловкий доктор посадил зубы куда надо:

— Оп! Как тут и были!

Охапкин внутри языком погулял, качество проверил.

«Я б теперь медвежью ногу одолел».

Тут и зеркальце явилось. Охапкин туда губами поиграл.

Засверкала жемчужным переливом нестерпимая красота.

— Какой роскошный Голливуд! — Охапкин не мог оторвать глаз. — Лучший подарок на Рождество я получил от вас.

Он встал с кресла и полез достать сто пятьдесят рублей, о каких условились еще на зубодерном сеансе. Врач руки назад спрятал и деньги почему-то не брал.

— Ваша улыбка дорогого стоит.

Лесть была приятна Охапкину. Он ответил тем же:

— Благодаря вам я уже не Охапкин. Я — Ален Делон.

Тут он приврал. Не было Алена Делона. Был Охапкин сорока семи лет с зубами Алена Делона. Причем только с верхними. Внизу же сумрачно желтели пять прокуренных ветеранов.

— Ален Делон две тысячи стоит, — сказал врач страшно тихо. Это насторожило Охапкина. — Сыр и колбаса вздорожали... Зубам тоже иная цена.

— Какая? — похолодел Охапкин.

— Две тысячи...

— Но мы же догово...

— То было в старом году, а нынче новые времена. Все кусается, и зубы тоже.

Двух тысяч не было у Охапкина. Он даже тысячу лишь однажды имел. За книжку, какую семь лет писал...

Тоскующим глазом посмотрел Охапкин в зеркало. И обнаружил вот какую странность.

Зубы Алена Делона жили отдельно от лица. Они нахально резали глаз... а тихое лицо куда-то размазалось и грустно моргало. Грешное лицо... пьющее, курящее, потасканное, но бесконечно родное до последней морщинки. Привык к нему Охапкин за неприкаянную жизнь. С ним родился... с ним в гроб лечь.

В зеркале сверкали насмешливые самозванцы, каким было на это лицо сто раз наплевать...

Положил Охапкин челюсть на стол:

— Буду так ходить. Я уже привык... Давеча даже лося съел...

Охапкинские именины

Поэт Охапкин каждый октябрь именины давал.

Созывал на именины Охапкин, а стол соображала Зоя Павловна — охапкинская теща.

Я на те именины с трепетом ходил. Всякий раз дрожала душа — чего-то нынче неведомого съем, о чем лишь в классике читал. Страх, до чего любопытно было за стол сесть и тайно пальцы загибать: орехи в черносливе — раз, шампиньон в тесте — два, салат с креветками... канапе со шпротой... рыжики с лучком... иваси под шубой... марципаны, язык, балык, заливной сиг... Красота слепила глаз, ароматы щипали нос. Рекордом было число двадцать один — картежное очко.

Красота слепила глаз, ароматы щипали нос. Рекордом было число двадцать один — картежное очко.

Королем стола были чанахи из бараньих ребрышек — фирменное блюдо Зои Павловны. И как въезжали чанахи на стол... сколько б салатов и канапе не уписал, тотчас мутилось в уме, слюну было не унять, и аппетит являлся волчий.

Поэт Соснора — известный анахорет. Ни в какие гости его не затащить. Сюда же являлся тотчас по звонку и самый первый. Пока никто не пришел, меж стульев лавировал, хищным глазом на яства сверкал. «О-о-о!..» — шептал и шевелил ноздрями.

Никого никогда не хвалил. Язва был принципиальный. Увидел в «Огоньке» цветное фото: Евтушенко, Рождественский, Вознесенский и Окуджава на фоне зимы и роскошной дачи — скривил губы: «Мертвецы».

Про молодежь, какую сам же учил рифму плести, бросил: «Графоманы».

Сам в профиль на Паганини похож и глухой, как Бетховен. В былые годы крепко по водочке ударял, а отозвалось на ушах.

Когда Соснора в Америке был, ему прибор для ушей показали. Он примерил... там все слышать, даже как таракан усами шуршит. Не чета русской халтуре, где только свист да грохот, как на стадионе. «О кей!» — обрадовался Соснора. Он полагал, что они ему эту вещицу дарят за то, что он от Бога поэт. Но Америка дарить не научена. Оглушила такой суммой!.. Соснора, пока там жил, чипсами давился, а вместо кока-колы глотал воду из крана. Он Америке отомстил словом:

— Болтуны. Живут бездарно, хоть и все есть.

На Пушкина Соснора (как классик на классика) тоже зуб имел.

Так вот... лишь про охапкинские именины заходила речь, руку на сердце клал, таял и патетически говорил:

— Хороший дом. Там очень вкусно кормят.

На нынешние именины я без надежд шел. Какие чанахи?! В стране пропала простокваша. Вкус сахара забыли, деньги стали мусор, и за секс брали лапшой. Слово «мясо» звучало как «аллилуйя», а «стерлядь» — перекечевало в мат.

...Чанахи шибанули в нос уже со двора. Окно охапкинской кухни было настезь, оттуда стекал волшебный дух и дразнил всякий нос. На земле в кружок сидели девять кошек, пять собак и три вороны. Никто не враждовал, они, как наркоманы, зажмурившись, нюхали чужой пир.

Соснора уже был тут как тут. Он ничего не слышал (сдохла батарейка, и аппаратик бесполезно торчал в ухе) и как астронавт плавал в межзвездной тиши.

С кухни влетела Зоя Павловна в бигудях. Вместо «здрате» сразила новостью:

— У собаки геморрой!

Геморрой при котлетах по астрономической цене за штуку?! Я понял, какого размаха передо мной человек! Да пропади бараны из природы вовсе — чанахам все равно быть! Она б на Марс слетала, барана в ступе привезла. Она б своих ребер не пожалела...

Когда все расселись, я оглядел стол. Там разноцветно и аппетитно сверкали одиннадцать яств!!!

Именинник восседал на почетном месте. Зоя Павловна с противоположного конца внимательно за ним следила.

— Олег Александрович! Не жмите на водку — вам нельзя! Вы потом в ванной уснете.

Она назначила себя тамадой и зычно командовала, когда наливать и кому что есть. Уже разогрелась водочкой, голова разлохматилась.

Как-то про себя сказала:

— Мне — была бы ясная цель и полет души! Скажут: «Зоя, построй в сарае вертолет или заставь слона на хоботе стоять» — раз плюнуть!

Такой вот динамит ежедневно Охапкина на кухне животом толкал и грохотал в дверь туалета, где он над рифмой колдовал:

— Олег Александрович! Сколько можно? Вы тут не один живете!

Охапкин под шум стола и звон посуды в книжку нос воткнул и в себя ушел. Затих, как задумчивый Гоголь. Я его за рукав тронул, полюбопытство-

вал: в кого так сильно погружен? Охапкин обложку показал. Я прочитал — «Охапкин». Это меня удивило:

— Ты что, забыл, что написал?

— Забыл, — ответил простодушный Охапкин.

— А как же Окуджава?

— Что — Окуджава?

— Он все помнит. Какой ни старенький, а без шпаргалок поет.

— Он себя любит...

— Я Ахмадулину вовсе пьяной видел. За стул держалась, чтоб не упасть.

В потолке точку нашла, за нее глазом уцепилась и все без запинки наизусть прочла.

— Тоже себя любит...

— Наума Коржавина на сцену двое под руки вели — ноги слабые. Тоже никуда не подглядывал, когда себя читал.

— Истинный поэт своих стихов не помнит. Я себя на память не знаю.

— То есть как?

— А так... Написал и забыл. Вперед стремлюсь!

Так отбрил меня Охапкин — и опять в книжке утонул.

Тут я вспомнил, что его еще подарком не поздравил. Так на таланты Зои Павловны отвлекся, что про главное забыл. Я вилкой по хрусталию позвенел и, как стихло, торжественно сказал:

— Охапки! Я тебе книгу Довлатова на именины дарю!

Охапкин подарок вежливо принял и гордо гостям показал.

С обложки на нас, пьяненьких, смотрел «неаполитанский солист» (так про этот портрет сам Довлатов пошутил). Мы тут ели и пили... он это дело тоже обожал, но год назад в Америке умер и теперь на родину книжкой вернулся. Его много печатали, и он для всех был очень интересен.

— Я хорошо Довлатова знал, — сообщил Охапкин. — Я с ним вместе жил.

Охапкин всякую знаменитость знал. Кого ни вспомнят — он со всеми был на короткой ноге.

Мелькнуло в разговоре «Бродский» — он тут же восторженно:

— Я на куполе Смольного собора ему стихи читал. Он сказал тогда: «Тебе, Охапкин, за них Нобелевскую премию дадут». Обманул Охапкина Бродский. Сам премию получил и навсегда за границу укатил.

— Там на сороковой странице Довлатов тебя помянул, — сказал я тихо, чтоб никто, кроме Охапкина, не услышал.

— Да?! — шумно обрадовался Охапкин. — Скорей читай!

Он подряд три рюмки хлопнул, и глаза его заблестели.

— Я плохо вслух читаю, — мямлил я. — Прочти сам...

— Я хорошо вслух читаю! — громко объявила Зоя Павловна и выхватила Довлатова из охапкинских рук. — Какой красивый мужчина! Неужели он мог дружить с вами, Олег Александрович?

— Мы пили из одного стакана, — молвил Охапкин.

Зоя Павловна раскопала сороковую страницу, пробежала глазами и засияла. Потом прочла всем, смакуя каждое слово:

— «Поэт Охапкин надумал жениться. Затем невесту выгнал. Мотивы: „Она, понимаешь, медленно ходит и ежедневно жрет“». «Ежедневно жрет!» — Зоя Павловна воткнула в потолок палец. — Как точно словом ваша суть схвачена, Олег Александрович! Ай да Довлатов! Умница! И какой красавец! — Она звонко чмокнула Довлатова на обложке. Все заерзали, зазвякали вилками, кое-кто рванул на кухню курить. Художник Шагин, атаман «митьков», сообразил развезть конфуз Парижем. Он оттуда три дня как прикатил, а теперь в кумачовой рубахе сидел. Большой (пудов восемь) и бородатый, как Энгельс. Рубаха распахнулась во всю грудь, и там флотский тельник сверкал. Не как исподняя красота, а как эмблема «митьковой» славы.

— Я в секс-шопе такое видел! — заворожил он стол. — Там все есть! Даже надувная баба из резины! С ней можно что хочешь делать! Деньги раз заплатил — и пользуйся всю жизнь. Она вечная! Потом сыну, внуку перейдет и дальше по коленам... И никакого СПИДа!

Одна гостья обиделась:

— Я вам не верю. Так уж резиновая лучше живой?

Мое ухо защекотал пышный начес Зои Павловны:

— Вы, я знаю, животных любите? Про них, говорят, рассказы пишете?

— Да, пишу, — лесть была приятна.

— Вы, небось, про них много науки прочли?

— Немало, — кивнул я.

— Тогда ответьте на вопрос... он во мне занозой застрял. Вот тут, — она накрыла ладонью мощную левую грудь. — Отчего у собаки геморрой?

— Я про это не пишу, — обиделся я.

— А вы напишите! Людям все интересно. Я себе места не нахожу! Мой паразит одну вырезку жрет да вареные яйца... Царская еда. И нате вам — геморрой! Откуда? Кто-то заразил. Кто?

Я пожал плечами. Зоя Павловна хлопнула водки, свела на переносье брови и на Охапкина магнетическим образом прищурилась. Мне ж в ухо прошипела:

— Это он заразил. Я точно знаю. У меня черные дни пошли, как он в дом вселился.

Охапкин ее магнетизма не учуял. Ел себе и ел — в такт аппетиту энергично гуляли уши.

— Олег Александрович! — зычно обратилась Зоя Павловна к жующему Охапкину. — Вы нам хотели про Довлатова рассказать. Мы ждем.

Все стихли. Охапкин дернул водочки, оглядел стол и начал:

— Я у него жил. Там было две комнаты, а между ними дверь. В одной комнате — я, в другой — Довлатов. Однажды он привел девицу — ноги от самой шеи и грудь с арбуз. Цветы, шампанское, конфеты... Даже пломбир не забыл. Гурман был. Просто тело на простыне — он нос морщил. Обожал, чтоб оно в цветах благоухало, а он по-петушиному кружил...

— Поэт, — молвил женский голос со вздохом.

— Это я поэт, — обиделся Охапкин. — Довлатов прозу писал, но в амурном деле любил многоточия и вопросительные знаки.

— А вы сразу восклицательным гвоздите? — спросила нетерпеливая Зоя Павловна.

— Я ставлю твердую точку, — парировал Охапкин и продолжил воспоминание:

— Он ее на свою половину увел, дверь на ключ изнутри запер. А я стал чай пить. Дверь толстая, дубовая — дом дореволюционный, — однако у меня ухо тонкое, я все слышал.

— А вы не могли уйти, чтобы не слышать? — произнес женский голос.

— А зачем? — удивился простодушный Охапкин. — Я никому не мешал. Чай пил, колбасу ел... Вдруг дверь открылась и вышел Довлатов. В халате, шлепанцах и потный. Знаменитый халат и знаменитые шлепанцы — их знала вся улица. Довлатов прямо в них ходил в ларек пиво пить. «Охапкин, — говорит, — ты поэт, ты все знаешь... как делать дефлорацию?»

— Это что за слово такое? — насторожилась Зоя Павловна.

— Это когда лишают девства, — объяснил Охапкин.

— Он что — не знал?!

— Не знал. Все жаловался: «Мне, Охапкин, в любви не везет. Я там всегда второй. Ну, хоть бы одна честно созналась... мол, ты, Довлатов, — восьмой или сто четырнадцатый. Никогда! Народ все разный, а фраза одна и та же, как шпионский пароль: «Ты у меня второй...» Короче — он не знал и просил помочь. Я объяснил. Помню, даже карандашом нарисовал на газете...

— Что ж ты там нарисовал? — полюбопытствовала жена Охапкина.

— Механизм нарисовал, — ответил Охапкин. — Довлатов все запомнил и ушел за дверь...

— Ну и как? — это много голосов спросило.

— Никак, — разочаровал всех Охапкин.

— Может, вы что не так объяснили? — с негодующей слезой воскликнул женский голос.

— Я все как надо объяснил, — обиделся Охапкин. — Мне сорок семь лет. Я за жизнь тридцать восемь знакомств имел. Это меньше, чем Пушкин, но ведь он свое число не увеличит.

— А вы, я вижу, не потеряли надежд? — ядовито проскрипела Зоя Павловна.

— При чем тут я? Сейчас о Довлатове разговор.

Все смолкли. Соснора удивленно вертел головой, силясь понять, о чем речь. Зоя Павловна тронула его за плечо:

— Ешьте, ешьте, Виктор Александрович. С вами этого не случится...

— Я чай выпил, — продолжал Охапкин, — колбасу съел... Девица очень сердитая ушла... Что-то из белья ей порвал Довлатов. Я забыл спросить — какой предмет именно...

Он смолк.

— Бедняжка, — пожалел женский голос.

— Кто бедняжка? — поинтересовался мужской.

— Обоим не повезло, — это Зоя Павловна подытожила.

— Довлатов хорошие книжки пишет, — сказал Охапкин, — но в амурном деле не боец. Я у женщин спрашивал, с какими он был: «Как, мол, прозаик в деле?.. Орел?..» Никто «орла» не подтвердил...

— А вы, Олег Александрович, вроде как этому рады? — Зоя Павловна стояла в рост и прижимала к груди книжку Довлатова.

Всем почему-то стало грустно. Книгу пустили по кругу. Смотрели на лицо Довлатова, передавали дальше. Кто-то предложил его рюмочкой помянуть. Зоя Павловна, утирая слезы, вышла на кухню.

— А год назад Довлатов мне подарок прислал, — сказал Охапкин.

Все оживились. Было страшно интересно узнать, что за подарок.

— Вдруг получаю из Америки бандероль с красивой маркой — там Иисус и Мария Магдалина. Разворачиваю... — Охапкин окинул всех интригующим взглядом, не спеша выпил водочки и съел хвостик селедки. Самая темпераментная гостья воздела руки к потолку:

— Олег Александрович! На вас креста нет! Вы не поэт, а хуже инквизитора! Сколько можно кота за хвост тянуть?! Скорее говорите — что вам Довлатов прислал?

Охапкин встал, снял коробку со шкафа, открыл. Там сверкали ярко-красной фольгой прямоугольные плоские пакетики.

— Растворимый кофе?

— Жевательная резинка?

— Пастила?

— Презервативы! — объявил Охапкин. — Он мне дюжину презервативов прислал.

— Веселый мужик!

— Нынче все дефицит, а презервативы — особенно.

— Тем более импортные...

Коробка пошла по рукам. Пакетики брали, щупали, вертели, чуть ли не пробовали на зуб. Одна гостья смущенно попросила Охапкина:

— Можно, я один на память возьму? Очень прошу... Его ведь Довлатов рукой держал...

— Отличная идея! — подхватили другие. — Это не шляпа Пушкина, но тоже память.

Презервативы в миг разобрали. Каждому гостю вышло по штуке. Последний достался Сосноре. Он не знал, что это за предмет. Решил, что затеяли играть в фанты. Забеспокоился, что не знает правил:

— Что я с этим должен делать?

Держал торжественно, как пасхальную свечу. Соседка написала на салфетке:

«Это презерватив. Память о Довлатове».

Соснора вскинул брови:

— Почему презерватив, а не книга?

В эту секунду с кухни вошла Зоя Павловна. Она увидела глухого Соснору с презервативом. Улыбнулась ему в лицо, а обратилась ко всем:

— А этому-то зачем? Он свой кобеляж давно пропил. А впрочем...

Быстрый ум тотчас же родил мысль, — Зоя Павловна чиркнула на салфетке:

«Презерватив обменяете на батарейку».

И указала пальцем на бесполезный аппарат в ухе. Соснора обрадовался:

— О-о-о!.. Это теперь вместо денег? А где меняют?

Охапкин, когда на дно коробки заглянул, вытянул лицо:

— А мне? Тут ничего не осталось.

— Ты их когда получил? — спросил Шагин.

— Год назад...

— А почему ни одного не истратил?

— Забыл...

— «Забыл!» У Довлатова пол-России друзей, а он тебя не забыл. Он ведь в прошлом сентябре умер?

— Да, в сентябре... я как раз в психбольнице лежал...

— Ты — последний, кому он успел подарок послать. Зашел в секс-шоп надурака, увидел презерватив — и тотчас же ты у него в уме всплыл.

— Как рифма, — вставила Зоя Павловна.

— Это — особая память, — сказал Шагин, — она дорогого стоит. Я бы гордился.

— А я и горжусь, — ответил Охапкин. — Но тут все разобрали, и я остался без памяти.

— А вам, Олег Александрович, зачем презервативом память? — удивилась Зоя Павловна. — Вам повезло, как никому, — про вас в книге написали. На века память!

Это были последние охапкинские именины с чанахами и Зоей Павловной. Она-таки его из дома выжила.

Теперь он звал на водку с хлебом без соленого огурца.

Довлатов, Охапкин и мертвецы

Позвонил Охапкин:

— Вечером в Союзе писателей день памяти Довлатова. Я его хорошо знал. Если придешь, познакомлю с писателями. Я их всех знаю.

Я согласился. И правильно сделал, потому что годом позже Союз писателей дотла сгорел и лишил прозо-поэтическую братию дармового крова.

Встретились в фойе. Охапкин с горящими глазами стал стрелять курево и спички. Курил жадно, сигарету выкуривал за два вдоха.

Подожли две литературные фурии непонятных лет с выцветшими лицами. Они были бесплотны, как слово, которому истово служили. Одна тронула Охапкина за рукав:

— Там, — она показала глазами на потолок, — все решено. На следующей неделе станешь член.

Охапкин засиял беззубым ртом и стрельнул у дамы сигарету. Сигарета была заморская, в два раза длиннее нашей. Эта длина скурилась Охапкиным за четыре вдоха.

— О каком члене был разговор? — спросил я Охапкина.

— Обо мне.

— А ты разве не член?

— Еще нет, но теперь буду, — гордо сказал Охапкин и стал искать глазами, у кого бы опять стрельнуть табаку.

— Как ты курить бросил? — спросил он меня.

— Ты поэму про Иова писал?

— Тебе понравилось?

— Сейчас не о том речь... Иов во имя веры страдал?

— Страдал...

— Вот и ты пострадай, усмири плоть ради бюджета семьи.

Охапкин помотал головой:

— Я и так, как Иов, живу. Ничего не имею и всего лишен. Ботинки одни, трусы одни, зубов пять. Табак да молитва — последняя радость. Я табаком не плоть тещу — веру усугубляю. В дыму о Боге крепче думаю и насыщаюсь озарением...

Тут как раз он поймал за свитер знакомого с длинными волосами и стрельнул закурить. Тот угостил сигаретой и стал расписывать, как гостил у Довлатова в Америке. Охапкин представил меня этому человеку:

— Мой друг. Хороший прозаик.

Я пожал протянутую руку и пояснил:

— Анималист.

Волосатый «свитер» понимающе кивнул:

— Поэт-лирик, член Союза писателей, — потрянув волосами, сверкнул очками. — Мне Довлатов прислал книгу в подарок.

— Стихи? — спросил Охапкин.

— Какие к черту стихи?... Том Карла Маркса с неприличной надписью.

— Дай еще закурить, — попросил Охапкин и после затяжки сообщил:

— Мне тоже Довлатов подарок прислал.

— Какой? — зажглись глаза собеседника.

— Дюжину презервативов в роскошных обертках.

— Презервативы — полезная вещь... а Маркс? Он мне на х.. не нужен.

— Между прочим, — сказал Охапкин мне и члену Союза в свитере, — Довлатов болел хроническим триппером. Жена его до тела не допускала. Он был добрая душа, но спал со всякой швалью. Я бы на месте жены тоже с ним спать не стал.

Тут зазвонил звонок, и мы пошли в зал. На сцене сидели люди со скорбными лицами. Число их было — дюжина, как у Христа апостолов.

Первым слово взял Арьев — организатор этой панихиды. С Арьевым я был знаком — дважды пил водку на именинах Охапкина.

Арьев — редактор, писатель, эссеист, первое перо критики... словом — фигура! Предисловий и послесловий он написал больше, чем Пушкин стихов.

С мятой бумажки Арьев прочитал унылую заумь о довлатовском слове.

Потом Гордин забубнил о литературном процессе. Парой слов помянул Довлатова, соскользнул на Бродского и развернул эту тему. Зал зашумел: «При чем здесь Бродский?!» Гордин смутился и сел на стул.

На Гордине Охапкин заснул.

Поэт Бобышев поведал, что Довлатов обожал Сэлинджера, а его, Довлатова, обожала некая дама, знаменитая тем, что прошла через руки многих поэтов, включая Вознесенского, и как она насмерть увлеклась Довлатовым, восхитившим ее тем, что был джентльмен и никогда при женщинах не ругался матом.

Я поднял глаза в потолок. Там были лепные амурсы. Если б там сейчас витала душа Довлатова, она бы взвыла от тоски.

В одном рассказе Довлатов упомянул этот зал. Он здесь на публике впервые прочитал себя. По программе вначале шел Гете (отмечалась круглая смерть), а потом пригласили его. После выступления его расподдали как антисоветчика. Он грустно заметил в конце рассказа: «После смерти начинается история».

Как раз на ней я присутствовал.

Арьев с улыбающимся лицом (оно всегда улыбалось... «Даже когда спит, следит за выражением лица», — как-то заметил Довлатов) гордо сказал в микрофон:

— Вот мы, здесь сидящие, — он показал пальцем на 12 стульев, — герои довлатовских рассказов.

Какова же преображающая сила таланта, если из этих посредственностей Довлатов ухитрился сделать остроумных людей! Он влил живую, веселую кровь в жилы мертвецов, которые сейчас самодовольно демонстрировали себя.

В этом зале я однажды был, на «сходке» кришнаитов. Я пришел, надеясь увидеть индусов, но кришнаиты оказались наши. Преимущественно бабы, причем жуткого вида: лохматые неряхи, вроде тех, что слоняются по вокзальным пивным со спущенными чулками и просят оставить глоток на дне кружки. Эта публика в белых хитонах, какие, надо думать, символизировали чистоту веры, бесновалась в ритуальных танцах. Белый цвет контрастно оттенял порок на испитых лицах.

Сейчас все было другое, но мне не стало веселей. Тогда была опошлена вера, теперь — память хорошего человека.

Я толкнул в бок спящего Охапкина:

— Когда ты умрешь, я про тебя веселый рассказ напишу.

Польщенный Охапкин засмеялся беззубым ртом.

Он уже четыре месяца гулял без зубов на верхней челюсти, чем был страшно доволен:

— Лучше, чем когда торчало два зуба. Тогда всякий видел, что нет остальных, а это бросалось в глаза. А теперь я никого не стесняюсь — смело читаю стихи и смотрю человеку в лицо...

В чем-то правда была. Когда он говорил, впечатление было странное. Видишь, как шевелится рот, и никак не сообразить — чего же там не хвата-

ет? Вроде бы все как надо... Но что-то тревожит: чего-то там все-таки нет... Ведь не придет же в голову, что это зубов нет...

— Иди на сцену, — сказал я Охапкину, — сейчас самое время презервативами развеселить.

Он рассмеялся:

— И то... скука смертная.

— Ну так иди... имеешь право. Ты ж тоже был его друг.

— Неудобно как-то... народ все солидный, а я про презервативы... Что про меня подумают? С меня хватит того, что сам Довлатов сказал.

— А что он сказал?

— «Ты, Охапкин, никогда не шути. Лучше при женщинах перни. Это легче перенести, чем твой юмор...»

Лири в дурдоме

Позвонил Охапкин.

— Я лежу в Институте мозга. Привези мне курево и чего-нибудь на зуб.

— Какой еще зуб? У тебя ни одного нет.

— Это образ. «Зуб» — в смысле «поесть». У меня от ихней жратвы живот распух и понос — до горшка добежать не успеваю.

Я поехал навещать товарища и поэта. В кармане спрятал сюрприз — плоскую фляжку с водкой.

Медсестра прощупала меня взглядом, нырнула носом в пакет с дарами. Криминала не нашла и допустила до «классика» — лауреата Державинской премии. Даже позволила побыть наедине в ординаторской, где на стенах висели страшные плакаты с аномалиями мозга. Когда дверь за ней закрылась, Охапкин важно сказал:

— Они меня тут все уважают. Знают, что я — поэт.

— Откуда? Ты им стихи читал?

— Нет... в истории болезни написано.

Водке он обрадовался несказанно. Выпил ее без глотков. Просто вылил в рот, как в раковину. Кадык ни разу не дернулся.

Полкило колбасы уничтожил в два укуса.

Как он съел вареные яйца, увидеть не довелось. Он это сделал с фантастической быстротой.

У одной моей знакомой было две собаки. Она их кормила дешевым студнем из волосатых пороссячьих хвостов. Однажды пожаловалась:

— Никак не могу увидеть, как они вылизывают миски — по кругу или поперек?

— А ты что, их не из миски кормишь?

— Я в миски студень бросаю, но он туда не успевает упасть. Они его налету глотают.

Вот так же Охапкин проглотил яйца.

Задымил сигаретой, откинулся на стуле — нога на ногу — и спросил:

— Ну, как там дела в литературе?

— Ты прозу имеешь в виду?

Он кивнул.

— Да никак. Я все журналы пролистал — «Знамя», «Новый мир», «Звезду»... Читать некого.

Охапкин стал скорбно-печален.

— В поэзии еще хуже. Нету талантов. Лежу вот тут, в жопу шприцем колют, а я голову ломаю — кому лиру передам?

Зарезанный петух

Позвонил Охапкин:

— Вечером приходи в «Бродячую собаку». Я там буду себя читать.

Будучи не любитель стихов, я, стиснув зубы, ради дружбы потащился в «Бродячую собаку». Этот притон бездомной богемы был недавно открыт в подвале трущобного двора.

Реклама у входа кричала:

«Вечер поэзии. “Поздние петербуржцы”».

Зал был битком.

И подумалось:

«Не хлебом единым жив человек...» — это Иисус про Россию сказал. Реформы от черта! Базар вместо «рынка»! Бандиты во власти! Попы с трансвеститами учат мир! Трамваи редки, что кометы. И вот поди ж... Чуть поэзия — люд тучей слетелся на жгуший глагол. Нет, не умерла Русь! Жив, жив страждущий дух! Грядет, грядет возрождение!!!»

Я зауважал свой народ.

Спустя полчаса восторг поистаял. Зал был набит не народом. Куда ни плюнь — сидели поэты.

В «Бродячей собаке» был их праздник.

Толкая друг друга, на сцену лезли творцы всяких полов.

...Когда Мандельштам писал про «век-волкодав» — звучало бунтарство духа. Энергия культуры противостояла ломающей силе. То же у Высоцкого: чем сильнее душат, тем отчаянней крик, нежелание покоряться. Бродский выстроил космос вне быта и бед. Вознесенский судорожно искал точку опоры. Рухнул Сталин, вцепился в Ленина («Уберите Ленина с денег...»), «И Ленин как рентген просвечивает нас...»). Лукавый Окуджава пел про виноградную косточку и корнетов...

«Поздние петербуржцы» нагнетали густую обиду на жизнь, где все продано, куплено, где «мимо носа носят чачу, мимо рта алычу». Сопротивлением духа не пахло, кричала голодная зависть...

Поэзия — созерцание, гармония, мысль... Я же слушал базарных зевак, какие в стихах перечисляли, чего не перепало понюхать, пощупать и съесть...

Наконец вышел Охапкин. Высокий, длинноволосый, с ликом и гласом пророка. И зазвучал охапкинский глагол: «Я стихи для России пишу...», «Пред народом паду на колени...», «Я подам об умерших записку, чтобы нам из земли помогали...».

Читал себя Охапкин раскатисто, зычно и так увлекся, что не услышал, как зал стал шуметь и топтать. Ведущий сообразил — грядет скандал, и надо «патриарха» спасать. Взяв слово, он страшно удивил зал: Охапкин, мол, движется вперед, и его вынесло в такие выси, какие даже Блейку не по зубам. Польщенный Охапкин кивал головой, рвался еще почитать, но микрофон вырвала поэтесса, что была на очереди...

Причину провала я узнал в туалете.

— Как у водопроводчика через слово мат, так у него — «Бог», «Россия», «Христос»! — негодовал лохматый поэт в драном свитере. — Я так тоже могу, но мне претит — вокруг кровоточит жизнь...

— Ну, как тебе мои стихи? — пытал меня Охапкин, когда мы вышли.

— Ты голодный? — спросил я.

— В каком смысле?

— В прямом. Пошли ко мне, угощу самогоном и жареной картошкой.

— Это ты здорово придумал. С позавчера ничего не ел... Лишен очага и корма...

Дело в том, что теща Зоя Павловна разлучила «патриарха» с семьей, выгнав вон из квартиры за «безделье» и прокуренные углы. Жена не была декабристкой, вслед за Охапкиным не кинулась. Изгнанник жил у сестры. Там тоже прокурил все углы, и спустя месяц сестра вызвала санитаров из Института мозга. Увозя Охапкина, те ему сострадали:

— Прости, друг. Мы ж видим, она — сумасшедшая баба. Все симптомы на лице...

— Коли так, заберите ее вместо меня...

— Нельзя, — разъярили медбратья. — Ты — рецидивист с историей болезни, а сестрица твоя числится здоровой.

— И что же мне делать? — спросил Охапкин.

— Ждать...

— Чего?

— Как кинется на тебя с топором...

— Чтобы убить?

— Зачем фатально смотреть на вещи? Не всегда бывает летальный исход. Зато налицо — рецидив, и... сестра — наш клиент. А до той поры наш клиент — ты...

— Дурдом — моя Голгофа, — мрачно пошутил Охапкин...

Прямо с порога он кинулся к моей жене жаловаться на свою (они были подругами):

— Я какой ни есть, а ей законный муж. Мы у алтаря венчаны. Я живу один у черта на куличках и ем черствый хлеб, а она жирует и с попами шампанское пьет. Я этих попов не знаю. Их никто не знает. У меня в епархии все свои, там все батюшки известны... а про этих никто не слыхивал. В нее черт вселился! Взяла моду меня корить — мол, я живу не во Христе. Это я-то живу не во Христе? Оля, ты меня знаешь, разве могу я жить не во Христе? Я желаю женского тела и ласк — без этого по ночам кричу! Ты ей позвони, спроси как женщина, что она думает о долге жены? Мне много не надо, я лишь эроса требую. А она меня кукишем дразнит: «Мне некогда». Мало лю-

бит, так мне на любовь плевать. Пусть приедет, долг женский исполнит и к проклятым попам идет... черт с ней. Или она хочет, чтобы я в грех впал — рукоблудием себя осквернил? Спроси, спроси ее об этом... А я за тебя Богу помолюсь...

Хлопнув самогона и умяв картошки, Охапкин закурил и поведал о теще:

— Она люто меня ненавидит! Заходится дрожью, когда я ем. Если видит, как воду пью, — с ней удушье! Как закурю — хватается за кухонный нож: «Прекратите курить, Олег Александрович!»

Охапкин лицедейски преобразился в Зою Павловну:

— «Не побоюсь греха — вас зарежу!.. Пусть ваш труп покажут по телевизору, а я крикну в мир правду про вашу тлетворную суть!»

— Какую правду? — вскрикнули мы с женой.

— Про мою сексуальную распушенность! — отвечал простодушный поэт.

Он опрокинул в себя еще стопочку и продолжал голосом Зои Павловны:

— «О-о-о!.. Я знаю, в какое такое “достоинство” влюбилась дура-дочь! Вы сгубили ее свирепым и необузданным развратом! Вы спите с открытым ртом, Олег Александрович, — берегитесь! Я туда волью расплавленный сви-нец!.. Проклинаю тебя, кобелина!!!»

Тут он нам подмигнул и, снова превратившись в поэта Охапкина, подытожил:

— Беднягу лукавый смутил. Ее тварное естество алчет сексуальной страсти. Она хочет, чтоб я поял ее, как Зевс наяду. Но я не могу впасть в блуд с матерью жены и бабушкой дочери. Мне ее жаль, но я в лицо не говорю: «Нет!» Она же, как зверь, это чует и мстит.

— Может, есть другие причины? — предположил я.

— Есть! — мотнул волосами Охапкин. — Ненавидит за то, что поэт.

— Поэт — это дар, — негодуяще взвилась моя жена.

— Дар, — кивнул Охапкин.

— Как можно ненавидеть человека за дар? — воздела жена руки к небу.

— У нее одни деньги на уме, — печально молвил Охапкин. — А за стихи денег не платят. Поэзия — судьба и крест.

— Да-а, тяжело таланту на Руси, — жена погладила Охапкина по голове.

— Тяжело... Но я не ропщу. Превозмогаю...

— Как Иов, — уел его я.

— Ты про Иова читал? Правда, хорошо написано? — повеселел Охапкин.

— Черт тебя дернул это писать? Теперь повторяешь его судьбу. Написал бы про Соломона — жил бы по-царски.

— Какой я Соломон? — помрачнел Охапкин. — Соломон семьсот жен имел и триста наложниц, а у меня одна жена, и та сбежала. Нищий, без зубов, двести дней в году в сумасшедшем доме... Я — поэт. Обязан страдать и терпеть.

— Заладил, как дятел, — «терпеть, страдать...», — взвилась жена. — Надо жить!

— СЛОВО — моя жизнь. Других истин не знаю. Через СЛОВО явится ЧУДО, — глядя в потолок, рек Охапкин.

— Чудес не бывает! — причесала его жена.

— А воскресение Христа? — вскинул брови Охапкин.

— При чем тут это? Я про жизнь говорю! — гнула свое женщина.

— И я про жизнь. Прошлой зимой как раз чудо случилось, — лучезарно улыбнулся Охапкин. — Теща приказала купить курицу. «Без курицы, говорит, домой не приходи!» Я сыскал магазин, где кур дают, встал в очередь... Длиннющая очередь, часа на три. Смирно стою, поверх голов гляжу на прилавок, где горой куры лежат. На мне любимая папаха была...

Мне была знакома эта папаха. Высокая, белая, из кучерявой овцы. В таком же фасоне, только из черной овцы, гарцевал на коне Чапаев.

— Часа два отстоял. Вдруг продавщица кричит: «Осталось семнадцать кур!» Я народ впереди посчитал... ужас! — я восемнадцатый. А мне без курицы — смерть! Вдруг две женщины из толпы подошли, взяли меня за руки и подвели к прилавку. Домой пришел с курицей... Разве это не чудо?

Жена, стоя за спиной Охапкина, вертела пальцем у виска.

— Они над твоей головой, надо думать, нимб углядели, — предположил я.

— Да?! — засиял польщенный Охапкин и пощупал пальцами воздух над теменем. — А я не догадался...

И тут он воздел глаза к потолку и с минуту шевелил губами. Потом, без отрыва руки, что-то написал карандашом на салфетке. Помахал ею над столом.

— Вот... явилось с небес... Прочесть?

— Конечно! — хором воскликнули мы.

Блестя глазами, Охапкин зычно прочел:

Продмаг. Очередина. Спертый дух.
Мясник-охотнорядец и кабацкий
В кровянице черной выговор дурацкий.
В густых руках зарезанный петух.

Старуха московитка. Речь ее
О трех копейках как бы недоплаты.
Авоська. Аккуратные заплаты.
О, Родина! Позорище мое!

Смотрю на это все, и в горле ком.
Ну как я эту горечь потеряю?
Что говорить, грустна к родному краю
Привязанность... Но, грустью лишь влеком,
Стою и плачу русским дураком.